

ОДНАЖДЫ И БОЛЬШЕ НИ РАЗУ

*Я был там.
Я свидетель.
Я видел:
Я горел.*

Память — это не я.
Моя память принадлежит множеству людей, которые ее создавали.

Однажды мать вспомнила, как ее семья переживала голод в Поволжье в 1921–1922 годах.

Мимо Саратова по Волге плыли по течению деревянные баржи, доверху заваленные трупами, разглядеть которые было трудно из-за мух: страшными полупрозрачными кипящими облаками миллиарды мух гудели над мертвыми телами. Вдали на пристани едва шевелились люди, но у них не было сил, чтобы что-то сделать. И баржи одна за другой ползли мимо полувымершего города, то поворачиваясь к течению боком, то ускоряя ход. Жара, лето, безмолвие, баржи, тысячи мертвецов, кипящие полупрозрачные облака из мух, и я видел эту волжскую ширь, позолоченную мертвым золотом, и беспорядочное нагромождение тел на баржах, и эти тучи мух...

— Я стояла на склоне Соколовой горы, над затоном, и смотрела на баржи сверху. Одна из них развернулась и приткнулась к берегу, а потом ее оторвало течением

и понесло дальше. Но запах, который поднялся вверх, ко мне, — этот запах никогда не забуду.

— Но тебе тогда было два или три года, — сказал отец. — Как ты можешь это помнить?

— Помню, — сказала мать. — Я же не умом смотрела — только глазами, глаза все помнят. А когда половина братьев и сестер умирали один за другим, когда просыпаешься утром, а в кухне очередной гробик стоит на двух табуретках... и вдруг кукушка из часов вылетает и начинает орать, орать... такое не забудешь...

Отец вспоминал, как в начале тридцатых, похоронив мужа и спасаясь от страшного белорусского голода, его мать покидала в телегу нищенские пожитки, посадила детей, сунула за щеку несколько немецких золотых марок, под юбку — обрез, перекрестилась и двинулась на юго-восток — лесными дорогами, потом степными, в объезд больших городов, куда голодающих беженцев не пускали милицейские кордоны, — в Донбасс, на черноземы, и я видел эту маленькую упрямую женщину с вожжами в руках, с поджатыми губами, в платке, с набухшей щекой и винтовочным обрезом, который подарил ей сосед, тщетно ухаживавший за нею, — обрез, пять патронов в обойме и еще пять про запас. На прощание сосед научил ее обращаться с оружием, которое, по счастью, ей так и не пришлось пускать в ход...

А бабушка вспоминала свою слепую прапрабабушку, стодвадцатипятилетнюю старуху, которая узнала о рождении прапраправнука — моего отца — и пришла в деревню, чтобы только провести ладонью по лицу младенца, мужчины, выпить самогонки и вернуться домой, на свой безвестный лесной хутор, где она доживала свой век в одиночестве, закурить трубку, лечь в постель, умереть — ее черный пес умер рядом на дощатом полу —

и быть похороненной случайными людьми — красным кавалерийским эскадроном, который дал залп из ста со- рока винтовок над земляным холмиком и рысью скрылся в темноте в июльском хаосе 1919 года, и я видел эту кост- лявую высокую старуху, босую, широко шагающую по щиколотки в густой летней пыли, и ее спальню, заткан- ную серебряной паутиной, и холмик с курительной трубкой, воткнутой в землю вместо креста, и красных кавалеристов, молчаливых обугленных могучих мужчин, которые мчались к лесу тяжелой черной массой, сливав- шейся с темной массой елового леса...

В том конце нашей улицы, который выходил в старый парк, у железной дороги стоял маленький дом под чере- пичной крышей, где жили супруги Левашовы, Иван и Маня. Маня была немой. В 1943-м под Сталинградом Иван Левашов снял с тела убитого немецкого солдата фотографию его жены, невесты или подружки — осле- пительной белокурой красавицы — и влюбился в нее без памяти. Он берег эту фотографию в битвах между Вол- гой и Доном, под Курском, в Белоруссии и Восточной Пруссии. На исходе войны он был ранен и оказался в го- спитале, находившемся в городке Велау. И вот здесь он встретил женщину с фотографии. За всю войну Иван выучил три немецких слова — «их либе дих» — их, ду- мал он, хватит, чтобы объяснить незнакомой женщине, как глубоко, как истово он любит ее. И она поняла его. Командование не поощряло браки между советскими солдатами и немецкими женщинами, а вскоре стало из- вестно, что немцев депортируют в Германию. Иван не мог жить без Мани, поэтому вырезал у нее язык, чтобы она не могла никому рассказать о себе, и женился на ней, выдав за сироту, которая томила в немецком шталаге. Скоро у них пошли дети, с их младшей дочерью я учился в одном классе.

Эту историю знал весь наш городок, бывший Велау, однако подруга матери, Вероника Андреевна Жилинская, главный врач нашей единственной больницы, говорила, что это вранье.

— Может быть, она и немка, — сказала она, — но никто никому языка не вырезал — Маня немая от рождения. Это просто любовь, хотя смириться с этим, конечно, трудно.

После войны Вероника Андреевна была начальницей солдатского дома, где лечились безногие, безрукие, слепые солдаты. Когда она узнала, что всех ее подопечных приказано ночью вывезти на Валаам, где они были бы обречены, то посадила безногого Илью Духонина в мешок и тайком вынесла из солдатского дома, а потом вышла за него замуж и родила четверых детей.

Однажды я встретил Веронику Андреевну в глухом месте, там, где река протоками соединяется с Детдомовскими озерами. Она молча сидела у большого серого куска гранита, обращенного плоской стороной к воде, наконец встала, положила руку на камень, сказала: «До свиданья, милый Костик» — и ушла.

— Там утонул ее пятилетний сын Костик, — сказала мать, выслушав мой рассказ. — Его так и не нашли. Видимо, течением вынесло в реку. Ничего не осталось — только камень. Камень Костик.

Образы чужой памяти окружали меня, проникали насквозь, как рентгеновские лучи, соединялись с тайными частицами крови и становились частью моего организма, меняя зрение, слух и речь.

Поглощая чужие воспоминания — рассказы соседей, друзей, случайных попутчиков, книги, фильмы, — моя память хаотически, беззаконно разрасталась, постепенно превращаясь в сферу Паскаля, центр которой всюду,

а окружность нигде, и я как будто исчезал, хотя на самом деле я и был этой ужасающей сферой, ее центром и окружностью. Именно так, думаю я, в человека и проникает Бог. Тем же путем, впрочем, приходит к нам и дьявол.

Балансируя между игрой ума, заводящей нас в пропасти дьявольские, и памятью сердца, возвращающей нас к себе, к тому немногому в нас, что готово вознести нас к вершинам ангельским, мы то теряем свое «я», то обретаем его, но происходит это не попеременно, а одновременно, хотя и в разных временах, в которых живет один и тот же человек. И это еще одна волшебная способность человеческих существ, напрочь лишенных собственной природы.

Память побуждает нас проводить различия между адом и раем, хотя она же, наша память, не позволяет забывать, что живем мы одновременно там и там, в аду и в раю.

Ад — это не то, что начинается за воротами. Это долгий путь — сначала приятный, потом терпимый, наконец однажды ты вдруг обнаруживаешь себя с револьвером в руке напротив лучшего друга, матери или любимой и стреляешь. Не можешь не выстрелить.

На самом все проще, тошнее и безысходнее.

Ад пуст.

В полном одиночестве я брожу по его пустынным равнинам и холмам, спускаюсь в остывшие ямы и щели, касаюсь холодных стен, еще хранящих следы страшных ожогов, и под ногами моими хрустят крысиные кости, и запахи мазута, серы и высохшего дерьма кружат голову, и все болит, все — кости, мышцы, сердце, и слезятся глаза, и отчаяние охватывает при мысли о том, что это навсегда, что ничего не вернуть, не переиграть, не изменить, и тоска, тоска тяжко влачится за мною грязной тенью — кучей смрадного мусора...

А рай — это память о тех минутах, когда мы свернули с Тверской в проулок и она вдруг скинула туфли, свистнула по-хулигански и запрыгала на правой ноге — от фонаря к фонарю, от дома к дому; подхватив туфли, я бросился за нею; отклоняясь при каждом прыжке вправо и резко взмахивая руками, она то пропадала в тени, то вылетала в круг света, и широкая желтая юбка с громким шорохом то взлетала, то обрушивалась пылающими складками, спадая по ее гладким блестящим бедрам ниже колен; наконец она остановилась, оперлась руками о стену дома, мотнула головой и проговорила прерывающимся радостным голосом: «Как хорошо!» Я присел на корточки, чтобы помочь ей обуться, и она приподняла подол, вытянула ножку, и из-под юбки ударило таким густым и жарким женским, что от счастья у меня закружилась голова, и вдруг все исчезло, совсем исчезло, чтобы остаться навсегда...

Память — это я.

Мы живем лишь *однажды и больше ни разу*, сказал поэт. Очевидная банальность «однажды» возносится до вершин трагедии, когда за нею следует «и больше ни разу». Но мы не умираем совсем, окончательно, если продолжаем существовать в чужой памяти — мертвым золотом Волги, курительной трубкой, воткнутой в землю вместо креста, или камнем Костиком — и превосходим безвестный и трепетный час своей смерти, оставаясь *niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern* — *ничьим сном под тяжестью стольких век...*

ПРУССКАЯ НЕВЕСТА

Заслышав шаги, мы с Матрасом разом присели, уткнувшись в тени кладбищенской стены, сложенной из валунов. В свете фонарей, качавшихся у железнодорожного переезда, на тропинке показался отец Матраса. Он промышлял тайной продажей немецких надгробий литовцам и всякого, кто появлялся вблизи кладбища с ломом или лопатой, грозил скормить свирепым призракам, которых приваживал мухоморами.

— Пошли, — прошептал Матрас-младший, когда отец скрылся в темноте. — Туда.

Пригибаясь, мы пробрались между ржавыми покосившимися оградами в глубину кладбища. Присев на корточки, осветили карманными фонариками серую гранитную плиту, покрытую пятнами лишайника. В прошлый раз после долгих усилий нам удалось сдвинуть ее. Однако и теперь понадобилось не меньше часа работы, прежде чем в образовавшуюся щель смогли протиснуться тощие тринадцатилетние гробокопатели. Еще полчаса ушло на то, чтобы при помощи плоскогубцев и отвертки снять тяжелую крышку с гроба, стоявшего на высоком кирпичном цоколе.

— Теперь включаем, — сказал Матрас.

— Раз, два! — скомандовал я и нажал кнопку фонарика.

Перед нами со сложенными на груди руками лежала юная девушка. На верхней ее губе, ближе к углу рта, пушилась родинка. На ней было белое платье, сотканное то

ли из паутины, то ли из той материи, из которой кроют крылья бабочек, и белые же туфли с золотыми каблуками. На левом запястье тикали крохотные часики в форме сердца.

— Как живая, — проговорил Матрас таким голосом, словно язык у него был из бумаги. — Тикает.

Девушка вздохнула, и в тот же миг воздушное платье и гладкая кожа превратились в облако пыли, которое медленно осело вдоль узловатого позвоночника. Мы заворожено смотрели на пыльный желтый скелет, на нелепо торчавшие белые туфли с золотыми каблуками, на часики в форме сердца, продолжавшие тикать, на густые волосы, в которых, как в гнезде, покоилось темно-желтое яйцо черепа. Из черной глазницы вдруг выпорхнул крошечный мотылек.

Матрас испуганно выругался.

Мой мочевой пузырь сжался, и я едва успел сдернуть штаны.

Матрас торопливо снял со скелета часы, цепочку с крестиком, бледное колечко. Мы выползли наверх и изо всех сил налегли на плиту. Наконец она встала на место.

— Фонарик! — вдруг вспомнил я. — Фонарик там остался. В гробу.

— Ладно. — Матрас сунул мне часики. — Пусть там светит, чтоб ей веселее было.

Спустя три года через кладбище прошли экскаваторы, оставившие после себя глубокие ямы для опор тепло-трассы. Школьники таскали черепа и кости, чтобы попу-гать учителей и ровесниц. Рабочие гоняли мальчишек за вином. Наш кумир Саша Фидель, двухметровый детина с черной курчавой бородой и щербатой бандитской улыбкой, прежде чем приложиться к бутылке, смешно крестился, чтобы кладбищенские призраки не наслали

на него икоту. Однажды вечером его экскаватор вспыхнул и в несколько минут сгорел вместе с заснувшим Сашей. Утверждали, что, когда обугленное тело вытащили из кабины, умирающий выдохнул черную бабочку, которая, покружив над людьми, растворилась в темноте. Сашу похоронили на новом кладбище. Старое забросили.

Я родился в Калининградской области через девять лет после войны. С детства привык к тому, что улицы должны быть мощены булыжником или кирпичом и окаймлены тротуарами. Привык к островерхим черепичным крышам. К каналам, шлюзам, польдерам, к вечной сырости и посаженным по линейке лесам. К дюнам. К морю, чьи плоские воды незаметно переходят в плоский берег. И я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира. Однажды я узнал, что родной мой городок когда-то назывался не Знаменском, а Велау. Жили здесь немцы. Была здесь Восточная Пруссия. От нее остались осколки — эхо готики, дверная ручка причудливой формы, обрывок надписи на фасаде. В отличие от осьминога, бездумно занявшего чужую раковину, мне нужно было хоть что-нибудь знать о жизни, которая предшествовала моей и создала для моей жизни форму. Учителя, вообще взрослые, были неважными помощниками. Не то что они не интересовались прошлым этой земли, нет, — но им было некогда, да и потом, им сказали, что чужое прошлое им не нужно. Был тут «оплот милитаризма и агрессии», жил и умер Кант — и довольно. Пруссков — предшественников немцев на этих землях — почему-то считали славянами. Старожилы утверждали, что вот это здание было городской школой, а это — пересыльной тюрьмой. Или наоборот. Некоторые глухо вспоминали о недолгой поре, когда русские и немцы жили вместе, а потом немцев вывезли невесть

куда, вроде бы — в Германию. Земля стала нашей. Отныне и навеки — гласила истина, безвкусная, как речная галька. В немногих книгах сообщалась жалкая толика сведений: завоевание орденом прусских земель, основание Кенигсберга, разгром тевтонов на полях Грюнвальда — Танненберга, Петр Великий в Восточной Пруссии, русская атака под Гросс-Егерсдорфом, французская атака под Фридландом, Тильзитский мир, август четырнадцатого, апрель сорок пятого... А жизнь? Что это была за жизнь? Старожилы пожимали плечами. Рассказывали о страсти немцев к рытью подземных ходов. О Янтарной комнате. Тротуары мыли с мылом. Рыбаки шатались от голода, но весь улов сдавали властям. Потом их депортировали. Всё. Десяти-двадцатитридцатилетний слой русской жизни зыбился на семисотлетнем основании, о котором я ничего не знал. И ребенок начинал сочинять, собирая осколки той жизни, которые силой его воображения складывались в некую картину... Это было творение мифа. Рядом — рукой подать — был заколдованный мир, я жил в заколдованном мире — но если русский человек в Пскове или Рязани мог войти в заколдованный мир прошлого, принадлежавшего ему по праву наследства, — кем был я здесь, человек без ключа, иной породы, иной крови, языка и веры? В лучшем случае — кладоискателем, в худшем — гробокопателем. При первом же вздохе девочка Пруссия обращалась в прах. Я слышал песнь скорби, которую пела горстка всадников в белых плащах, покинувших дорогую родину и пришедших в Пруссию — страну ужаса, в пустыню, где бушевала страшная война (так писал летописец крестоносцев Петр Дюсбургский). Гремели пушки, стрелявшие ядрами, высеченными в моренах доисторических ледников. Ползли в тумане ганзейские караваны. Сам дьявол в образе чудовищной Рыбы

являл свой хребет над равниной Фришес-гафф. Цвел боярышник. Шиповник. Пахло яблоками. Во всех временах этой вечности шел дождь, колеблемый ветром с моря. Прусское время...

Я жил в вечности, которую видел в зеркале. Это была жизнь, которая одновременно была сновидением. Сновидения созданы из того же вещества, что и слова.

В предисловии к «Мраморному фавну» Генри Джеймс писал об Америке, о том, как «трудно написать роман о стране, где нет теней, нет древностей, нет тайны, нет ничего привлекательного, как и отталкивающего, да и вообще ничего нет... кроме ослепительного и такого заурядного сияния дня; а именно так обстоит дело на моей обожаемой родине». Именно так, казалось мне, обстоит дело и на моей обожаемой родине. Там, где я родился. Тени и тайны принадлежали чужому миру, канувшему в небытие. Но странным образом эти тени и тайны — быть может, тень тени, намек на тайну — стали частью химии моей души. Одно время я терзался раздвоением. Ребенком я гордился победой славян и литовцев под Грюнвальдом — и одновременно горько сострадал судьбе Ульриха фон Юнгингена, гроссмейстера ордена, павшего в отчаянной схватке с поляками и похороненного в часовне замка Бальга, на берегу Фришес-гаффа. Позднее я понял, что русский интеллигент в XX веке поставлен точно в такое же положение относительно русского прошлого. Наверное, тогда же пришло понимание того, что сновидения национальности не имеют. Слова — слова — имеют, но не Слово, стирающее различия между Шиллером и Эсхилом, Толстым и Гёльдерлином, более того, между живыми и мертвыми — между читателем и давно умершим писателем. Писатель, то есть сновидец, живет не в Знамен-